

Владимир КОСТИН

ПЕРЕПРАВА

П о в е с т ь

Если тебя сзади похлопали по левому плечу,
обязательно оглядывайся через правое плечо.

Из пародии на «Моральный
кодекс строителя коммунизма»
(1963 г.)

Человек начинается с горя.

Алексей Эйсер

1.

Эта новость распространилась быстро и на несколько дней превратилась в самую обсуждаемую среди обитателей небольшого города. В нашем «барском» дворе ее источником была скамейка, на которую надолго и охотно присели две осведомленные старушки из квартир номер двенадцать и семнадцать. Слушателей хватало, и речи образованных бабушек обрастали новыми деталями и артистизмом.

Герой Советского Союза Иван Иванович, проживавший в квартире номер двадцать девять, опустил, не вписавшись в новую мирную жизнь, одушевленную покорением космоса, возведением Братской и других ГЭС и робкой (не слгазить бы), но упорной верой в наступление коммунизма через тринадцать лет.

Наши ночные в 1963 году очереди всеми семьями в булочную, где давали в одни руки одну буханку «Забайкальского» хлеба, виделись досадным недоразумением, чем-то наподобие болезни роста. (Кстати, как выяснилось, в хлебе отсутствовали и пшеница, и рожь.) Работала же как ни в чем не бывало по соседству «Кулинария», любимая детьми.

Неблагодарные, заигравшись на ее задах в футбол, они время от времени разбивали в ней мячом окна — в ней, где проголодавшиеся мальчишки за гроши покупали пирожки, маковые рулеты или аппетитную жареную печенку. Но не об этом сейчас слово.

Иван Иванович, уже иссохший вплотную к скелету, много пил и много говорил — лишнего и «неправдоподобного». Он не снимал

Золотой Звезды никогда, независимо от формы одежды. Чаще всего это была всепогодная пятнистая зеленая майка.

Начальник областного КГБ Петр Иванович натерпелся от него, от его цирка, от его дерзости, по самую макушку. Герою повезло: не-сталинские наступили времена, «Сталина не было на него». Тогда часто звучала эта фраза, к месту и не к месту; чаще, как ни странно, в устах головоотяпов, разгильдяев и несунов... Беззащитен нынче нарисовался Петр Иванович.

И вот Герой скончался при отягчающих обстоятельствах. И похоронили его прямо-таки секретно, не посвящая и не привлекая общественность. А родных у него не нашлось.

А наступила, как обычно, бурная ранняя весна.

— И он, говорят люди, видели, забрался в парк после его закрытия, ближе к ночи, с парой портвейна, выпил, обыкновенно, без закуски, и лег там на теннисный стол в зеленом павильоне (помните, где еще кто-то навалил зимой) — заснул и замерз. К вечеру-то тепло бы и наплыло, а в ночь крепко приморозило. Под утро нашли его сторожа, Санька и Афонька, — «а» да «б», туда-сюда. Опочил!

— Значит, замерз, сердечный?

— Замерз, мученик. Так с войны и не вернулся.

— Что ж теперь... Вечная ему память. Как ни крути — заслужил ее.

— Вечная память. Заслужил.

И Павлик (то есть я, на пятьдесят лет младше и совсем другой, несостоявшийся Павлик) искренне жалел вместе со всеми абантурцами непрактичного Ивана Ивановича. Детские ссоры с ним, со взаимными обзываниями — «герой с дырой», — отодвинулись далеко-далеко, спрятавшись за горевшими фашистскими танками.

Первое серьезное событие в городе в том, полном моментов истины и знамений, году.

2.

Дальше, почти до самого лета, все шло по накатанной марафонской колее; другое дело, что Павлик и его товарищи, согласно поступи возраста, эту колею для себя познавали впервые. Они начали курить, как и положено семиклассникам, пробовать на мат свои юные голоса и обсуждать девчонок, старших и младших, говоря, по законам взросления, самые гадкие вещи о тех из них, кто им больше всего нравился.

Еще говорили о дружбе, учителях — некоторых даже великодушно хвалили; о футболе и, уже с некоторой вальяжной привычкой, о космосе.

Курили они за молодыми тополями на отшибе школьного двора. Тополя зеленели, солнце распускало лучи все щедрее, недалекая степь делилась своим дыханием.

Это тебе не зимний, студеный деревянный сортир без перегородок, тесный, битком набитый грубыми старшеклассниками, с их модой вытирать задницу листами из учебных тетрадей.

(Родители были правы, договариваясь и дружно пихая в ранцы 7-го «Б» мятые странички газеты «Правда». А туалетная бумага, по слухам, водилась разве что в обкоме и горкоме. По слухам.)

Курили дешевые папиросы — «Север», «Прибой». Сигареты без фильтра — от «Шипки» свежего привоза до тугих «Жемчужных», но особо ценили грамотную бийскую «Приму». Первыми сигаретами с фильтром были болгарские, малогабаритные — «Плиска», ими угощались избранные. Почему-то их название считалось неприличным. Изображая бывалых, на больших переменах накуривались до одурения и тошноты. Как положено. Ну не хулахуп же вертеть, как мясные девчонки?

В ликвидации последствий табачного экстаза очень убедительно помогал лихорадочно протыкавший землю под их ногами дикий хрен, великий и ужасный. Возвращаясь к партам, неминуемо наполняли класс жгучим зловонием, тем более что желудки вырабатывали некий вторичный продукт хренового потребления. Увы, мускатный орех не на каждый день. Учителя роптали, но... но...

А так все прочее выстраивалось по законам природы. Успеваемость мальчиков падала, успеваемость девочек росла. Но молодого их учителя физкультуры начинала волновать вовсе не успеваемость, что констатировали, мудро усмехаясь, ученики. Однако иные нетерпеливые переростки мечтали побывать на его месте, когда он выстраивал симпатичным девочкам правильную осанку при упражнениях на гимнастическом бревне.

Тянулись протяжные дни с их в общем-то надежной, предсказуемой рутинной. Пока труба не позвала школьников в поход — на юг, к предгорьям Саян, туда, где Енисей еще кипит, полный кислорода, и подпрыгивают рыбы, где правый берег его так живописен и так высок, что нужно задирать голову, чтобы увидеть его кромку.

Учительница истории объявила, что им предстоит экскурсия на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Особое значение, подчеркнула Галина Петровна, имеет тот факт, что оно должно быть завершено в 1980 году. А ведь названный год (какое знаменательное совпадение!) — год Наступления Коммунизма. Когда «от каждого по способностям — каждому по потребностям». «И мы с вами наглядно, вещественно увидим, сколько еще работы, вдохновенной и тщательной, потребуется для созидания идеального, справедливейшего в истории общественного строя».

Заданная тема активно обсуждалась под табачный дым. «Нам будет по двадцать пять — двадцать шесть лет, — оживленно тараторили ребята, — мы тут же переженимся, нам дадут квартиры, телевизоры, мы будем ездить на море и есть шашлыки». «И пить хорошее вино, — добавлял кто-то, — бургундское». «И увидим дальние страны», — добавлял кто-то третий.

О, дальние страны! Тогда все, даже законченные хулиганы из избушечных кварталов, читали, мечтая, во множестве и волшебным образом появившиеся книги о героических путешествиях на суше и на море, о знакомстве с народами и ландшафтами, в которых они живут.

«О, Килиманджаро!», «О, атолл Пука-Пука!». А космос? Космос значился в ранге «само собой», но волновал, волновал «внуков Марса», грядущих покорителей галактик.

Девятый вал фантастики, советской и зарубежной, наивной и глубокомысленной, обрушился на самую читающую страну в мире с не меньшей силой, чем записки отважных странников. Дети, юноши, взрослые томились в очередях под запись за книгами, написанными Туром Хейердалом или Рэем Брэдбери. Случалось, дрались за них или отбирали дарвинистски у слабых.

Грядущий коммунизм обещал открыть все границы по горизонтали и вертикали. И — неотъемлемо — дарил право жениться, и, может быть, жениться сколько хочешь.

Про «жениться» Галина Петровна, конечно, не вымолвила ни словечка, опустив и прочие обаятельные подробности. Но им, и Павлику тоже, показалось, что она, наверное, очень умеренно верит в светлое будущее (или вообще не верит?), чужда его романтики, коль вещает без красот, устало и суконным, постным языком.

Они побывали на ГЭС и таращились на нее добрый час. Они убедились, что завершение работ не за горами, что вот, вот-вот и вот — и готово. Такое им празднично сообщал безусый комсорг стройки. На нем синели иноземные джинсы и вишневели туфли с округленными носами! Это смотрелось каким-то обещанием: скоро все так будем!

Правда, данные мажорные впечатления осложнялись одной закавыкой, сучком зловещего искривления. В наши края в этот год явились с Дальнего Востока энцефалитные клещи в невероятном количестве. Как саранча. Очень опасные, их укусы превращали людей в скрученных инвалидов с перекошенными лицами. Клещи дожидались своих доноров повсюду: строго запрещалось сходить с асфальтовых дорожек, детей осматривали чуть ли не через час. При этом неотвратимо отбирались сигареты. А у Кости Шумова, сложившегося хулигана и вора, отняли бутылку «Терека», обнаружив ее в просторном самодельном внутреннем кармане куртки. Одноклассники сдержанно, с опаской, чтоб не взбесился, поддевали его по этому поводу.

Сообщалось, что эти мерзкие клещи — продукт трудов японских бактериологических лабораторий. Посылка из прошлого, эхо войны.

С коммунизмом мы так и не встретились, и желание встречи в нас растворилось, зато клещевая рать оккупировала Россию до ее западных границ — и сегодня, как свидетельствуют ученые, больше всего их в заповедной Карелии. В Потомской губернии, куда судьба на всю оставшуюся жизнь занесет Павлика (там он превратится в меня, беспорточного), их тоже хватает с избытком.

3.

А Павлик, повзрослев для поисков человека, «с которого можно жизнь делать», мечтал о встрече с героем своего времени. Отчаянный, бытовой и колючий Иван Иванович его не устраивал.

И в принципе, по общечеловеческому обыкновению, то есть по близорукости и нарывам зависти, рядом с нами, по соседству в магазинных очередях героев и гениев быть не может. Должны наличествовать дистанция и весомая доля таинственности в судьбе. Начиная с происхождения. Отсюда в студенческих общежитиях появлялись соседи, предками которых оказывались французские графы или, на худой конец, польские шляхтичи. Потом, Павлик все-таки рос в интеллигентной семье первого поколения, с подчеркнутыми, прямолинейными амбициями в поведении, с претензиями на умную и по необходимости образную речь.

(У родителей, впрочем, амбиции различились — до того, что они развелись шесть лет назад. Мама, измученный заботами завуч школы и преподаватель литературы, читала, укладываясь спать, — и вскоре засыпала как убитая, прикрыв глаза раскрытой книжкой. Прекрасные, изящные книжки тогда начали выпускать. Отец переселился в отдельную однокомнатную квартиру в хрущевке рядом с рынком. Ему, как чтимому всей областью лектору общества «Знание», городская власть выделила жилье почти немедленно. Пренебрегая высокой словесностью, он читал советские детективы. Под ним, на первом этаже, располагался магазин «Дары природы», его лукавый директор-царедворец восхищался отцом и его манерами, и поэтому отец иногда лакомился зайчатинной, куропатками и белорыбицей, чей вкус был чужд провинциальным обывателям.)

Домашнюю же библиотеку родители имели отборную — тогда, до Брежнева, выборание-сборание книг было счастливым занятием. И родители знали, что покупали, и хвала им.

Поначалу героями Павлика числились Тиль Уленшпигель и Шурочка Азарова, она же Лариса Голубкина. Но Тиль потихоньку возвратился в свою мятежную Голландию, а Лариса Голубкина пропадала где-то в Москве; и «Гусарскую балладу» не показывали.

Однажды, в лютый февральский мороз, имелся шанс познакомиться — на расстоянии, конечно, — с первым человеком страны, пророком счастливой жизни Никитой Сергеевичем Хрущевым. Вождь побывал в Братске и пообещал (сдержав посул) обеспечить молодых и задорных строителей коммунизма уютными. Они ходили в мятой одежде не один год, расстраиваясь от вынужденной ее мятости. А затем, через Красноярск, Никита Сергеевич собирался навестить и Абантуру в целях подъема творческого духа трудящихся Хонгории.

Целый день, от сумерек до сумерек, на Первомайской площади перед обкомом выстаивала, стуча зубами и каблуками, несметная народная толпа. Примороженные на славу, люди повторяли хорошие и, надо же, плохие слова в адрес Кукурузника. Да, плохие слова и анекдоты. Их слышал Павлик. Он узнал, что при Сталине за это сажали. Так говорил его сосед по выстойке, одергивая храбрецов. Все неистово лузгали семечки, согреваясь динамикой челюстей.

А Никита Сергеевич не прилетел, видно, соскучился по Москве, и объявили о его неявке на закате. Толпа взвыла, захрипела, частично хуля его. И разбежалась за три минуты.

Вскоре Павлик присмотрелся к директору музея, что временно существовал в школьном дворе, рядом с их полевой курилкой на южной окраине. Не сложилось сразу — археолог Ричард Николаевич Думский был слишком суров, отрывист, ходил в галифе, курил вонючую трубку и топорщился массивными усами. Он неприкрыто хотел походить на Сталина, от прически до обуви. Портрет отца всех народов висел у него в кабинете, фронтально ко входу и входящим. Павлик его убоился, остерегся.

(Для справки. Другой — и больше ни у кого в городе не было — портрет Сталина хранил директор ипподрома хонгор Султреков. Видимо, в память убитой, выкошенной в 37—38 годах хонгорской интеллигенции. Как на подбор, умные, работающие и бескорыстные выросли люди. Их окрестили тюркскими националистами, выполнявшими заказ фашистской Японии.)

Ладно. Увлеченный футболом, Павлик, снижая планку, пытался возлюбить местных звездных солистов. Ведь других, рангом повыше, он знал только заочно, по газетам «Футбол» и «Советский спорт».

И опять незадача.

Знаменитый бомбардир Зубило (он же Иванов) был застигнут Павликом у пивного ларька на стадионе — расхристанным и нецензурно бранящимся, он в тот вечер не выходил на поле.

Другой кумир, непроходимый защитник «Труда» Дёма (Дёмин) встретился Павлику на улице: на ногах тапочки, ширинка растегнута, и терпимо еще, что под ней виднелись серые, как будни, трусы.

И бог бы с ним — живем небогато и сердито. Но так совпало, что тогда в Абантуру нанесла визит дружбы команда «Заполярик» из Норильска. (Скоро выяснилось, что ее вышколили когда-то высланные из Москвы прославленные футболисты братья Старостины. Они вернулись домой — традиция осталась.) И рухнуло тотчас всякое доверие сынов Абантуры к своим футболистам. На своем поле, при переполненных трибунах они продули голубо-льдяным гостям с позорным счетом 0:6. «На мыло!» — кричали не судье, а Зубиле, Дёме и прочим.

Через неделю на местное дерби «Труд» — «Строитель» не пришел никто.

У Павлика была возможность переключиться на людей искусства. Они сами появились на экране соседского телевизора. В Абантуру, по разнарядке, конечно, а не по доброй воле, десантно прибыл вокальный квартет «Аккорд», известный стране по радиоконцертам и даже «Голубому огоньку». Вполне обаятельные, стройные и усталые, как лошади при шахте. Ясно, что гастроли по здешнему бездорожью — не сахар. Они исполнили с десятков песен вживую под частично поврежденную магнитофонную запись аккомпанемента. Очень пришлось по душе соседям, их непрошеным гостям и Павлику японская песня с припевом «Сукэ! Сукэ!» («любимая» в переводе, однако).

Концерт закончился, мама отправила вдохновенного Павлика за молоком в гастроном — и что же он там лицезрел?

Телестудия и дом Павлика, *наш Дом*, находились на равном расстоянии от магазина. Поэтому Павлик зашел в гастроном вслед за квартетом «Аккорд» в полном его составе. Обе солистки стояли и не стыдились взглядов и яркого света, держа в руках по бутылке «Московской», а их коллеги-мужчины поставленными голосами обсуждали, сколько им купить сушено-соленой семикопеечной кильки — полкило или, мало ли что, полное кило?

Купили кило, и Павлик провожал их испепеляющим взглядом. Они прошли двадцать шагов на восток, до входа в гостиницу «Абантура», куда и ввалились с шумом.

...Мама сказала:

— Удивил! Да они чо́хом пьяницы! Они и поют пьяные!

А «вторая мама», тетя Аня, добавила:

— И развратные, блудни! Язви их!

И добил надолго ребячью мечтательность Герман из первого подъезда, молодой подтянутый человек, вернувшийся со срочной службы в Группе советских войск в Германии. Собирался он на Братскую ГЭС. Идеальный, кандидат в члены КПСС.

Он повел мальчика в «Орленок», напоил его, за отсутствием взрослой компании, «Шахтерским» пивом и, охмелясь, в хорошем настроении, вывалил на него кучу неприличных анекдотов. Они начинались одинаково. Или: «Одна бабенка решила...», или: «Один шустрый кобель нацелился...». Анекдоты необычные, без юмора, дурного-предурного пошиба. Неужели немецкие, гэдээровские? А Павлик-Пауль собирался ехать за Германом следом, на ГЭС, приготовился ему во всем подражать. Повезло, что мама задержалась в школе и не застала Павлика в хмельном безобразии.

Но пришло спасение для души, вернув свою цену попыткам Павлика воспарить над глобусом. Маленький их столичный город проездом посетили не кто-нибудь, а великие путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд. Они объездили всю планету и написали вереницу увлекательных книг: «Африка грез и действительности», «Меж двух океанов», «Охотники за черепами» и так далее, зачитанных советской молодежью до рассыпания на странички. Они возвращались домой через Владивосток (об СССР они книгу не написали, не вдохновились).

На телестудии выступал один Ганзелка, Зикмунд приболел. Когда Ганзелка отработал свое, давши интервью здешнему писателю по фамилии Загайло, и вышел на вечернюю майскую улицу, его атаковали поклонники — школьники и студенты. Некоторые девушки и юноши обнимали его и целовали, а он никого не оставил без автографа и пары добрых слов. По-русски он говорил безупречно. В том числе он расписался и в книге «Меж двух океанов», принадлежащей Павлику. Спасибо соседу Сашке — Павлика мама не отпустила. А автографа Зикмунда не досталось, понятно, никому. «А как было бы здорово его отхватить и утереть нос всем прочим!»

На удачу, выдающихся чехов поселили в новенькой гостинице «Хонгория», классом выше «Абантуры». И находилась она в двух кварталах

от Дома, и дежурной по этажу была соседка (квартира номер 21) тетя Валя, решительная, раскованная и крупная, как медведица, женщина.

Рано утром, под зябким ветром странствий, она повела Павлика в «Хонгорию». Ганзелка и Зикмунд находились в гостевой комнате на втором этаже, где их величали местные писатели во главе с секретарем обкома Чехоминым. В восемь утра на столе стояли неисчислимые бутылки скверного вина без этикеток и блюдечки с копченостями. Зикмунд выглядел неважно — кажется, причина выяснилась. Ганзелка бодрился, но в глазах его поплававком густилась обреченность. Тетя Валя выставила Павлика перед собой. Павлик вытянул руку с книгой.

— Распишись вот здесь, — сказала тетя Валя Зикмунду, — он Павлик.

Зикмунд улыбнулся и расписался: «Павелку от...»

— А я не нужен? — спросил Ганзелка.

— А ты, милый, уже расписался, — сказала тетя Валя, — отдыхай.

Зикмунд захохотал, как дитя, снял с пиджака значок «Татра» (название их славной машины) — и наколол его на рубашку Павлика! Так тот вошел в историю и побратался с земным шаром.

...Во дворе Павлик гляделся аристократом. Расспросам не было конца, значок перещупали и примерили все, даже бабушка и хонгорский соловей, певец Танзыбеков.

А к вечеру — Павлик не уходил домой, не обедал, а пописал за качелями, — а к вечеру значок исчез. Кто-то ловкий его «скоммуниздил» (новое словечко), снял, как мог бы сотворить человек-невидимка. Черт его знает, бесстыжего. Павлик не спал всю ночь. Но в душе его сохранился хрустальный след: он взлетал.

Но тем горше в итоге: сказка оказалась мимолетной, взлетел и упал с высоты с риском расплющиться.

Он был тогда невеличка, худоба, хоть и хорошенький. Застенчивый, со сверстниками он общался скованно, боязливо, отчужденный от них и тем, что жил в «барском» доме и горделивой семье. С тех пор и надолго, до сего года, в поисках героев и неведомых красот он углубился в чтение, переходя на взрослые, нередко опасные для него книги, читал днем, читал на скамейке, читал ночью, прячась от мамы с фонариком под одеялом. Сейчас он протискивался в лабиринты «Игры в бисер» Гессе, не понимая, в сущности, ничего, но уважал себя за старание, за попытку высшего пилотажа. Он надеялся покорять вершины. Но шерпа Тенцинга рядом с ним не находилось. И подумаешь.

Но его нового героя звали не Евгений Онегин — им стал другой, живой человек, на нужный срок Онегина оттеснивший. Павлик искал живого, сегодня и здесь.

4.

Еще один человек, именно я, бывший Павлик, вошел, «возогнался» в возраст, когда, как в детстве, начинаешь жить одним днем. Но замечательно, что никакому ребенку не дано так законченно и так благородно восхищаться снегопадами и ливнями, солнцем и луной, акварелями

и гравюрами природы, радугами и печалью ненастья, как человеку в годах, не сгнившему в мелочной мороке дней. Чего стоят одни только приключения березы под моим окном, оплота чудесных синичек, которую я посадил тридцать три года назад.

Но грустно, что теперь слишком ранние и слишком поздние телефонные и дверные звонки заранее, до «слушаю» и «кто там», вызывают тревогу, намекают об очередной потере. В моей истлевающей записной книжке кресты напротив номеров уже преобладают, но я не хочу ее менять на свежую — она мое личное кладбище, а к кладбищу нужно относиться с уважением.

Со временем, поскольку круг живых собеседников сузился до того, что каждую их фамилию хочется обвести киноварью, ловишь себя при звонке: ты невольно предсказываешь, кто ушел, неужели...

И в невнятном, беспокойном предутреннем озноблении, под вой ветра и дробь дождя, звонки начинают сниться. Ты пробуждаешься вмиг — и звонки не повторяются. Их не было. Мой старый друг А. П. утешает меня: это вид условного рефлекса. На самом деле, в соответствии с сединой, тебе сообщается: пора. Пора, а ты глуховат, а внутренне — неотзывчив.

А призрачные звонки, включая, кстати, сегодняшний, продолжают.

Наше время не похоже ни на какие другие времена, и не похорошему не похоже. И я думаю, день за днем, что люди, настоящие мастера, гуманисты, личности, уходят, огорченные тем, что им не дали — им не удалось оставить на белом свете замены, достойных наследников. Укоризненно смотрят они с небес на безобразия маскульта и интернета (убедительно-гадко восполнивших отсутствие НКВД) и прочих факторов насилия над этикой, эстетикой человека, на наш пошлый мир в вихрях центробежных сил. Мир маргиналов, возвращенных на электронике, на суррогатах настоящего, наконец-то берет реванш у всех, кто памятливы, трудолюбивы, умен, честен и способен творить.

Ныне изгнаны из лексикона — буквально — такие слова, как «пошлость», «вкус», «красота», «честь», «достоинство», «целомудрие», «дружба», «солидарность», «тонкость», «добро». Вышли из обихода сотни слов! И «любовь». Это слово поменяло свое значение... Люди лишаются необходимой личной тайны едва ли не с пеленок и становятся жертвами всемирного племени закомплексованных «психологов» — в массе своей безграмотных каннибалов.

Я не боюсь смерти (может быть, пока не боюсь), но вот это тотальное оскудение человека, состоящего из вещей, половых органов и тщеславия хама из толпы, человека потребляющего, предсказанного еще век назад (Шпенглер, Г. Ландау, Хейзинга, Замятин, Ортега-и-Гассет, Музиль...), говорит мне о том, что человек сегодня, в его новейших двух поколениях, уже и не вполне человек, он и не ставит перед собой достойных человека целей. Среди нас, расталкивая, повсеместно завелись персонажи, заслуживающие звания мутантов и манкуртов. Они успели захватить

позиции и в США, и в Грузии, и на Украине. Причем одни, «элитарные», мутанты обрекают других, «массовых», на заклятие.

«Прервалась связь времен»? Навсегда?

И снова почудился звонок в дверь. Когда я ее с непонятной надеждой открыл, то увидел: пожилой гость с раскрытым мокрым зонтом пришел к соседям. Им его появление пришлось по душе.

Дверь я распахнул слишком резко. Она, заслуженная и уязвимая, обронила на соседский коврик крупную, почти квадратную щепку. Я поднял ее, горюя, — и вспомнил. Больше полувека назад: весна, четвертый этаж школы, звонок и наш запертый на ключ 7-й «Б». Через неделю одноклассник Шумаков признается: он стащил случайно оставленный учителем в скважине ключ, чтобы получить удовольствие второгодника. Ключ он выбросил в мусорный бак, а бак не замедлили планомерно опустошить санитары города.

Дверь открыли силой — образовалась брешь от язычка. Замок вынимать не стали, поленились, а его язычок вбили молотком обратно. За процедурой наблюдала сотня зрителей, школьникам не хватало впечатлений, и они теснились, толкая друг друга и вытягивая шеи.

Завхоз принес продолговатую пиленую чурочку-плашку и поручил Павлику перекрыть ею дыру, на что вручил Павлику четыре тоненьких гвоздя. Он справился с заданием, и Ефимыч благословил чурочку незабвенной коричневой краской, мундирной для всех школьных дверей по всей стране Советов.

И тут-то и появился в толпе заметный человек лет двадцати пяти, которого и через годы не спутаешь ни с кем. Невысокий, но видный брюнет с ухоженными бакенбардами, в белом двубортном пиджаке (!), в шляпе, что была один в один с памятным по «Великолепной семерке» стетсоном. Но он подавал себя так, что никому, похоже, не приходило в голову назвать его пижоном. Естественный, сам по себе, без глаз на затылке.

Он высмотрел в замолчавшей толпе десятиклассницу Татьяну, и все услышали его спокойный баритон. Он сказал:

— Татьяна, я где-то обронил ключ, дай, пожалуйста, мне свой. Мать уехала в Мирусинск.

Логично, что публика по свежим следам развеселилась.

Ключ девушка-выпускница выдала. (Она была его двоюродной сестрой, жила в его семье и после выпускных вернулась в свою деревню.)

Он было отправился на выход, но разглядел в этом кагале Павлика и поманил к себе. Сказал, очень доброжелательно:

— А я тебя знаю. Мне тебя показывали в твоём дворе. Считают, что ты любого обдерешь в настольный теннис. Мы сейчас в «Орленке» перешли на игру в парах. Желающих до... (запнулся) полно, в общем. Будешь напарником? Поверь, я тоже кое-что умею. Мы этим... (запнулся) ребятам покажем. Из Черногорки будут приезжать, из Мирусинска — покажем! Ну как, придешь в воскресенье?

— Легко, да, конечно, — радостно ответил Павлик, — покажем!

Он был просто очарован — не одной романтической наружностью особого человека, не только тем, что его ценит и приглашает взрослый человек, но и тем, что этот человек говорил отточенно, тактично, изысканно, как не говорили в школе и на улице. Павлик трепетал и казался себе выше ростом.

Знакомый незнакомец пожал ему руку и ушел мимо почтительно расступающихся школьников, и школьники смотрели на Павлика с уважением. Кто-то щедро свистнул.

На ватных ногах Павлик отправился в класс. Его нагнал Сережа Галанин, его дружок. Осведомленный в городских текущих подробностях. Городской, так сказать, хроникер.

— Это Анатолий, — сообщил он, — авторитетный чувак. Вроде экспедитор на пивзаводе, а шепчут: темной ночью промышляет насчет магазинов и прочего. Осторожнее с ним.

Сережка ревновал. Павлик кивнул. Подумаешь, подумал он, и ничего не подумал еще: он уже ждал воскресенья. И в субботу пришел в зеленый павильон на разведку.

Лет сорок спустя, в летние каникулы, я зашел в родную школу. Дежурная учительница впустила меня неохотно, ей пришлось вставать с раскладушки. Я поднялся на четвертый этаж и мимо расписанных стен — школьники, учителя, птицы, воздушные шары — добрался до своего класса, волнуясь до подтягивания брюк.

Чурочка, от Брежнева до Путина, продолжала существовать, светясь облупленными шляпками своих четырех гвоздиков!

Тогда я, впервые после *того* лета, богатого солнцем и ливнями, вспомнил Анатолия — не зная, жив ли он или нет. А я и фамилии-то его не знал. Нужды не было, а прозвище знал: Ковбой.

5.

Городской сад, объявленный после войны городским парком, получал последовательно имена Ленина (массы считали, не годится здесь имя Ильича, ибо сиротский парк), «XXII съезда партии» и, наконец, стал «Орленком». Он находился в центре города, окруженный знаковыми зданиями и сооружениями Абантуры. Наискосок от него, через улицу Ленина, метрах в семидесяти, возвышался Дом Павлика, *наш*, самый красивый в городе, населенный интеллигенцией, русской и хонгорской, артистами театра, инженерами в чинах, заслуженными учителями и ветеранами, чиновниками и меняющимися военными. Здесь прописались и Герой, и начальник областного КГБ, и чатханщик¹ хайджи² Пабызаков. Для соблюдения советских приличий на площадях четырех или пяти квартир располагались пролетарские семьи, с подселением одиноких в маленькую комнату.

За северо-западным углом парка осела новенькая областная телестудия при уходящей далеко в небо вышке, усеянной пылающими ночью

¹ Чатхан — многострунный щипковый музыкальный инструмент.

² Хайджи — сказитель.

красными звездочками. В конце года она начнет принимать Москву. По диагонали от Дома Павлика — метров пятьдесят.

Напротив, на центральной улице Ленина, на расстоянии метров в двадцать пять, находилась гостиница «Абантура», а правее, западнее, гастроном, получивший много позже идиотское название «Скандинав». (Спасибо, что не «Святой Грааль», как вульгарная пивнушка на въезде в соседний Потомску «почтовый ящик» — в 90-е срамные годы.)

Изначально сад, гектара на четыре, возводился на сыром, мокром месте, разливы речек и дожди оставляли здесь объемистые зацветающие лужи. Самая обширная из них называлась Кривым озером. До войны и во время ее господствовали лютые непроглядные комариные тучи. Их с переменным успехом изводили *нефтеванием*. Гнилые лужи осушали — они возрождались. Наконец лужи и буйные камыши все-таки доконали, посадили деревья — липы, акации, потом жадные до воды тополя. Победили.

До 41-го года успели окружить сад добротным деревянным забором, у входной арки появилась касса. Протянулись дорожки, раскинулась центральная аллея; еще — танцплощадка с ленивым необученным оркестром; объятые тьмой, замигали пятнадцать (!) лампочек. Еще — отличная библиотека-читальня, оазис вежливости и ума.

Аттракционы народные: силомер, качающееся бревно, мыльный столб, на верхушке его находился приз — зонтик, кепка, галоши. Случился и живой индюк, который клевал добравшихся до него в голову. И они, раненые, с руганью съезжали вниз. Еще — кегельбан. Еще — ресторанчик, дрянной, в нем отлавливали жуликов, а то и бандюков. Еще — зеленый театр с самодеятельностью по выходным, здесь важно выпивалось.

И летний кинотеатр без крыши. В нем показали фильм «Большая жизнь»! Город навестил сам Борис Андреев. Хорошо выпивал и закусывал, тепло общался, великий. Наш человек. Спрашивали: а где Алейников, отвечал: на съемках. «Люблю его».

И скульптуры: красноармеец и танкист. На центральной аллее белый Сталин, выше себя, с ласковой улыбкой на полном лице. Напротив — «Играющие дети». Они толкали огромный шар в небо. Зачем? Никто не понял.

В войну забор растащили на дрова. Сад замолчал. По нему гуляли, угощаясь самогоном, пациенты эвакуированных военных госпиталей. В кинотеатре, пока он не сгорел, показывали патриотические фильмы: «Оборона Царицына», «Котовский», «Сталинград»...

После войны парк ожил и стал очень популярен, густо населен, вернулось общение! Мало-помалу он разбогател. Новый деревянный, но поместительный кинотеатр «Мир». Бильярдная, карусель, садовые арки, телескоп. Стенды с профилями классиков марксизма-ленинизма. Плакаты-агитки. Лекции-доклады. Кружки для детей. Утренняя физкультура. Городки, волейбол. Шахматы и настольный теннис в зеленых павильонах.

(Год назад Павлик навострился играть в настольный теннис. Во дворе Дома поставили стол — и Павлик неожиданно для самого

себя обыгрывал всех подряд с помощью китайской ракетки, отличной реакции и маленького роста. Пока стол не украли темной ночью, унеся неведомо куда, в какое-то закрытое место.)

И новые скульптуры — «Девушка с веслом», «Женщина с мальчиком», бюсты Орджоникидзе, Чкалова, Щетинкина. И вокруг — клумбы, вазоны с цветами, надежно охраняемые нетрезвыми сторожами.

Снова приезжал Борис Андреев и сфотографировался на фоне «Девушки», восхищенно простирая к ней длань. У него был хороший вкус!

Парк обновлялся во все хрущевское правление: новые качели, карусель «Орбита», «Лошадки», «Комната смеха» для отборных сограждан и парашютная вышка. Павлик попытался прыгнуть с нее — и завис, за малым весом. Публика глумилась над ним, и он не сдюжил — прослезился.

Но при Брежневе парк заметно опустел, то ли народ стал разборчивее, то ли пропало в нем ярмарочное чувство. Дети, конечно, штурмовали карусели по воскресеньям, но в будни, особенно летом, жизнь давала о себе знать лишь в павильонах для шахматистов (там славились отец Павлика и его соперник, музыкант-педагог Левич) и теннисистов, где проявит себя текущим летом Павлик.

Даже кинотеатр оскудел зрителями. Но когда в нем целую майскую неделю подряд демонстрировали «Великолепную семерку» с полурусским Юлом Бриннером в главной роли, случилось натуральное вавилонское столпотворение.

Больше других фильм восхитил и потряс нового друга Павлика по имени Анатолий. Можно сказать, он голову потерял, посмотрев его шесть раз, и выучил его наизусть.

6.

Полтора годами ранее начальник областного КГБ Петр Иванович Забабурин переехал из нашего дома в отстроенный неподалеку, на улице Колхозной, стекающей к рынку, напротив парка, торцом к нему, обкомовский дом. Дом скромной провинциальной знати, вполне соvestливой, у которой еще не подросли кичливые и разухабистые детки. Такие дома, охраняемые, с высокими потолками, безукоризненным сантехническим обслуживанием и достойными, но в чем-то и спартанскими интерьерами, были типовыми. Я наткнулся на их близнецов и в Потомске, и в Самаре, и в Кирове.

В освободившуюся квартиру ненадолго поселилась семья военного, подполковника по фамилии Погожий. В семье подрастали две дочери. Младшая, Ольга, совсем дитя, хохотушка, и Надя, годом старше Павлика, — стройная и строгая брюнетка, по-украински красивая — и серьезная, отличница, чистюля. Взгляд ее карих глаз повергал в оторопь и вызывал у объекта чувство стыда за себя и соответствующие воспоминания. А воспоминания о грехах томили душу любого отрока, угрызали совесть.

Утром в субботу, перед набегом в «Орленок», Павлик выносил мусорное ведро. Двор гудел — ассенизаторы в три агрегата выкачивали

золото из автономных подземных хранилищ. С раннего детства Павлик дружил с ними, как и прочие малыши. Труженики разрешали им нажимать заветную кнопку, превращавшую машину в ревущую перед стартом космическую ракету. Павлик поговорил со старыми знакомыми, услышал, что «говно нынче дружное», но беседу прервали подступившие к нему Кабачок и Вовочка Дангулов.

Вовочка, низенький и пухленький, стремительно старел, у него было лицо сорокалетнего готтентота. У смуглого Кабачка на подбородке вились три волоска, и походил он на баклажан.

— Мы, — перебивая друг друга, сообщали они, — сейчас насмотрелись на девчонок Погожий. Они там на качелях качаются, а Надя даже на турнике висела. Мы разглядели, у них сарафаны коротенькие: у Надьки зеленые трусики!

Заинтересованный новостью, Павлик глянул налево, в палисадник. Девочки стояли под акациями. Оля болтала и махала руками, а Надя слушала, снисходительно, заложив руки за спину, как его любимая учительница по литературе, Суворочка Ираида Андреевна.

Видимо, они собрались домой. Ага, пошли. Оля ускакала вперед. Надя не торопилась. Представить ее бегущей было невозможно. Оля — речной глиссер. Надя — морской фрегат.

Когда Павлик зашел в подъезд, Надя не спеша восходила над ним на второй этаж. И он не удержался, машинально (ли?) посмотрел вверх и увидел загорелые ножки и зеленые трусики. Запоздало застыдилась: ох; а она на секунду приостановилась, отметив его зоркость. Видно, подумала: «Он нарочно подглядывает?» — и взлетела по ступенькам.

А Павлик остался на месте, глядя теперь в ведро. Поникнув, дожидаясь, когда захлопнется ее дверь. И вдруг, во искупление, прошептал себе: «Сегодня на ночь буду читать “Онегина”. А чертов Гессе пусть сам себя читает».

Он хотел ее видеть. Наступившие кстати каникулы помогли ему: он боялся с ней заговорить, но дожидался ее выхода в летний двор, болтаясь среди акаций или забравшись на тополь; оставался во дворе, пока она не уйдет, но стеснялся ее сопровождать.

Она делала вид (?), что его не замечает. Но он не мог не верить свято, что она за ним приглядывает, интересуется. Пусть он и маленького роста. Пушкин тоже был маленький, и Лермонтов. И аккуратно принимал, сам того не ведая, байронические позы. Он не осмеливался влюбиться в Надю или не признавался себе в этом, но любовался ею и видел ее, как водится, во сне.

7.

Суббота разгонялась. Через час, заплатив тридцать копеек, Павлик переступил порог заветного павильона. На подходе, за метры асфальта, сменяющегося глиной, он сообразил: еще не играют — не слышно было ударов по шарик и воплей — конвоя ударов очень удачных и очень неудачных. Шарик не щелкал по столу, стенкам и полу. Считаная компания,

как выяснилось, завсегда таево, расселась по перилам, скамейкам, кто-то сидел на корточках, кто-то курил, — и громко общалась, безжалостно делясь познаниями в области личной жизни, братва.

— Эге, — сказал один, — клопик пришел! Неужто обыгрывать нас напыжился? Ишь, ракетка у него — иноземная, казовая.

— Погоди, — сказал другой (сосед Сашка Саражаков, неожиданность), — он вас с прищура уделает. У нас во дворе он чемпион.

— Ну-ну, — сказал третий, — побачим.

— Надо подождать, — предупредил Павлика (до июля переименованного в Клопика) Саша, — придет Виктор — и начнем. У него и сетка своя, и шарики, чтоб не платить.

Столов обнаружилось два, но играли на северном, по суеверию. На южном, как сообщили, сражаться было впадлу. На нем умер Иван Иванович, по данным сторожей парка Александра и Афанасия, забавно смотревших в разные стороны, как двуликий Янус, при рассказе о весенней трагедии.

Павлик обратил внимание на то, что среди подростков, старше его на год-два-три, на скамейке сидит пожилой человек в очках и мятой шляпе, гладко выбритый, с парой зубов во рту, и курит папиросу, медленно, смакуя; докурив, немедля запалил следующую зажигалкой-гильзой. Сидит, молчит, слушает. Слесарь парка Евгений Семенович. Никак не откликается, не морщится на похабство словес с похабными телодвижениями-картинками. Стало быть, наслушался и насмотрелся за свои годы. Как об стенку горох.

Павлик не мог наглядеться на компанию. Кажется, все разные, но на всех печать уличных, забубенных ребят, знакомых с цинизмом и пластикой взрослых, выпивкой и прочими достоинствами советских людей, которых, хочешь не хочешь, примут в коммунизм. Но в довесок, только по паспорту. Для ровного счета.

В нашем Доме проживали отесанные дети, «ребята с нашего двора», их опекали старшие дети, тетушки и бабушки — и няньки, беглые из колхозов; детей нередко водили взводом в кино и на речку. А старшие играли с ними в рыцарей, ратников, гусаров и космонавтов. А на сон грядущий, без самых маленьких, в грибке вместе слушали китайское радио по транзистору: «Дорогие товарищи и друзья! Советские ревизионисты...» Смеялись, нравилось. Передачи из Пекина не глушились: видимо, главные московские чины тоже с удовольствием их слушали.

Здесь открывался новый мир. Лишь бы не побили, не отобрали мелочь или ракетку... Нет, Анатолий заступится. А — интересно, интересно.

Одеты как попало. Но тогда, и много позже, наряды для мужского пола, сколь бы они ни были скромны и нелепы, никого не смущали. И наоборот. Саша Саражаков, например, был одет вполне гармонично, потому что он — сын известного на всю Хонгорию хирурга. И кого это заботило? Он, кстати, не солировал в стихийном концерте, но барагузил со всеми, хлопая себя по коленкам.

Павлик отметил: у каждого из ребят налицо своя присказка, речевой паразит, вроде глиста.

Деревенский паренек из Таштыпа, Сергей, по кличке Колхозник, в шароварах и душном свитере, приехавший на лето к дяде, пользовался своего рода частицей «на». То есть: «иду, на, в кухню, а там, на, дед точил тяпку, на». Над ним издевались, до унижения, а он являлся в каждые выходные.

Два брата Дубовы, Николай и Всеволод — Хрен и Ховен. Погодки в самодельных жилетках и красных трико. Николай — бесконечные «значить». А Всеволод имел запросы. Напевал: «Много у нас диковин. Каждый из нас — Би-итховен». Трогательно. Подробные, бедовые пацаны.

Рыжий Семен — Рыжик. Желтая рубашка, грязные клетчатые брюки, с Согры. Достает из кармана и прячет кастет. Никогда им не пользовался и не будет. Вставлял в свою речь бесконечные «ё-маё». Меланхолик и зануда.

(В недалеком будущем Павлик узнает, что присказки звучали и в исполнении неискренних парковых сторожей. Александр, русский, повторял хонгорское «орта» — «правильно», когда даже было очевидно неправильно. Афанасий, хонгорский орел, возлюбил польское восклицание «матка боска» — «Матерь Божия». Возможно, потому, что оно ему казалось бранным, по далекому звуковому сходству.)

Неведомый их лидер Виктор опаздывал. И за час, а то и другой ожидания Павлик ознакомился с набором шедевров устного творчества сего поколения.

1. Пропели, очень небрежно, целомудренно-эротическую песню: «Ты, сорока-белобока, научи меня летать, невысоко-недалеко, прямо к милой на кровать».

2. Еще одна песня, вскоре перешедшая в бодрую декламацию: про Садко. «Садко, недолго думая, засунул в чемодан / Полдюжины гондонов / И книгу “Мопассан”». Тут и приключения, и слова были куда ядреней, забористей.

3. Затем последовало целое ожерелье анекдотов про Пушкина и Лермонтова. Вполне в духе их собственных юношеских забав, особенно Лермонтова. Они соревновались, кто убедительнее и «красивше» раскроет драматургию встречи с женщиной. Побеждал Пушкин. «Пускай стрелы Дадоновы в пещеры Соломоновы».

4. Не забыли и про великого полководца А. В. Суворова. Стих, причем белый: «Поссым, сказал Суворов...»

5. Письмо внука деду из пионерского лагеря. «Климат здесь херовый, / Я писал не раз. / Ты бы здесь загнулся...» и так далее.

6. И на десерт — пикантная история от Ховена, с брызгами из его рта. «Ереванский луна освещала небес. Выходил на балкон молодой Аванес...» — а дальше ужас.

Да, обогатился Павлик. Возмужал на пару лет.

После концерта непроницаемый Евгений Семенович докурил пачку папирос, поднялся, глухо сказал: «Работа ждет» — и скрылся за липами, погладив ближайшую своей мозолистой рукой.

И Саша сказал Павлику на ухо: «Это муж Галины Петровны, исторички. Он в лагере сидел, зэк, за какой-то там саботаж. Двенадцать лет,

советскую власть разлюбил, не верит ей. Его папа оперировал, с ним общался, а дядя Женя думал, что умрет, и язык не придерживал».

Павлик вспомнит его слова позже, а сейчас, возбужденный уколами поэзии, он ерзал, крутил головой и говорил: «Ну бубенцы, ну бубенцы».

В павильон вошел Виктор. Лидер, вождь; кличка — Господин Хороший. Самодельный китель, галифе, заправленные в начищенные кирзовые сапоги. Он старше всех, ему под двадцать. Лицо жесткое. Глаза с косинкой.

— Это кто? — сразу углядев чужого, спросил он.

— Это Клопик, — ответил ему Хрен, — он из дома специалистов. Пришел сыграть, гутарят, здорово лупит.

— А, буржуин, плохиш. По благу отучится, начальником станет, — злым голосом высказался Виктор. — Да, Клопик?

Павлик оробел и тихо ответил:

— Нет, не стану.

Виктор усмехнулся. И спросил у подчиненных:

— Ковбой не обозначился?

— Обозначится завтра, на двойки.

— Вот это нормально. Мешать нам не будет.

И начались бои. Один на один. Народу не прибыло. Суббота все-таки, рабочий день.

Павлик показал товар лицом. Гонял противников по углам, резал, подкручивал, получая половину очков прямо с низких далеких подач. Вышибал из-за стола без лишних усилий. Последним против него, как Павлик и ожидал, встал Господин Хороший. Он внимательно наблюдал за Клопиком и, похоже было, встревожился. Его одолевал лишь Ковбой, и то не всякий раз. Сейчас ему предстояло серьезное испытание. Он занервничал.

И проиграл — 7:21, позорнее всех. Матерился по-черному, с начала и до конца. И разбил шарик о стенку. Отдышался, глядя на соседей-шахматистов, и сказал:

— Смотри, Клопик, доиграешься, гаденыш. Прибью, не нравишься ты мне, настырный. Мне надо уступать, понял?

— Но я же бился по-честному, — оправдывался Павлик, — чего ты психовал? Поддаваться мне, что ли?

— Не гневи меня, плохиш! — сказал Виктор и дал ему подзатыльник. Хорошо, что не больно. И выставил за порог негрубо — взял себя в руки. Вслед за соседом вышел один Саша Саражаков.

«Завтра придет Анатолий Ковбой. Завтра я приду обязательно... А ребята промолчали, опустили котелки. Эх вы, трусы».

8.

В воскресенье жара стояла с самого утра, при полном безветрии. Ни тучки на небе. На город опустилось марево, земля будто покачивалась во все стороны; во дворах, больших и маленьких, взрослые повыносили-вее поливали клумбы и палисадники, зелень и деревья, при наличии

шлангов. Полюют дерево — и поливают и себя, вместе со штанами, и особенно — голову.

На улицах, и обычно немногочисленных, ни души. Молчат птицы, квелые.

Но в павильоне мальчишек — не протолкнуться, и половина из них пришла с самых окраин, успевая по дороге загореть до арапства и высветлить шевелюры. Играли, конечно, парами, по кубковой системе, и проигравших выбивали на фиг.

Анатолий появился сразу вслед за Павликом. На нем были беломраморные брюки, настоящая тельняшка, обнажавшая его поистине могучие бицепсы, белые сандалии на босу ногу. Часы походили на золотые. И откуда такая роскошь?!

Здороваясь, он кивал, кивал и кивал; Виктор первым протянул ему руку — пожал, но небрежно, холодно. Зато Павлика приобнял, хлопнул по плечу, вручил ему яблоко и подмигнул.

Виктор же Павлика словно «не замечал» и на его малодушное приветствие не отозвался.

Наступившую на секунду тишину прервал, предваряя предстартовый гвалт, голос из-за угла:

— Что-то сегодня будет, едрена феня. Кровь прольется!

И что-то было. Часам к трем добрались до финала две пары: Анатолий — Павлик и Господин — Ховен.

Публика почти единогласно считала, что победят первые. И действительно: Павлик со своими резаными и кручеными ударами являл необходимое вдохновенное мастерство; Анатолий, в мокрой тельняшке, был надежен, стоек, умел обмануть противников и деморализовал их короткими фразами-цитатами из песен Эдиты Пьехи и Эдуарда Хилия. Просить его не пользоваться таким оружием никто не осмеливался.

Первая подача досталась Виктору. Когда он, оскалившись и сгорбившись, взял в левую руку шарик и... — Анатолий поднял свою правую с ракеткой и сказал:

— Минуточку, чуть не забыл...

Виктор застыл и изобразил негодование. Анатолий, широко, поголливудски улыбаясь, продолжил:

— Слушайте сюда. Завтра, кто хочет-может, приходите в «Мир» в девять вечера, после закрытия парка. Будет «Великолепная семерка»! Для вас — бесплатно, я буду на входе.

Раздался рев и звучные рукоплескания. А Виктор заметил:

— Не подкупишь, Ковбой. Мы не поддадимся.

И Ховен:

— Нет. Каждый из нас Би-итховен.

Тут перешли на гогот. Анатолий снова поднял руку:

— Сеанс левый. Начальство об этом знает, но как бы не знает. Поэтому проникать тихонько, скрытно, через забор с юга. Охрана заметит, ей говорить пароль: «Понедельник — день тяжелый». Все понятно?

И Виктору:

— Приступим. Начнем, пожалуй. Огонь!

И грянул бой. Который скоро перестал походить на Полтавскую баталию. Ковбой и Клопик были беспощадны. 21:10, 21:8. Хватило двух быстрых партий. Причем последнее очко добыли при душераздирающих обстоятельствах. Анатолий срезал при высоком отскоке шарика. Для этого ему пришлось подпрыгнуть и бить «лопатой». Шарик взлетел над территорией противника до потолка, и, пытаясь в отчаянии его принять, Виктор в свою очередь взлетел — но досталось ему крепко удариться спиной и тыквой о стенку павильона — и свалиться на пол. А шарик ударился в потолок и упал ему прямо на темечко.

И Виктору пришлось вставать, качая головой и цепляясь за стол. Лицо его кривилось от боли и досады.

— Гитлер капут! — торжествующе вскрикнул Павлик.

— Недолго музыка играла! — завопил сторож Афанасий. — Матка боска!

Униженный Виктор встряхнулся, как это делают собаки, обогнул стол и дал Клопику подзатыльник, на сей раз увесистый, взрослый, так что искры из глаз посыпались. Анатолий моментально заступился за своего юного друга. Под скулой Виктора зажегся фонарь, он сел на пол, на окурки, и опустил голову. Застыл.

Праздник победы был испорчен. Все замерли. Павлик с Анатолием ушли вдвоем, оставив за собой переполненный молчунами павильон.

— Спасибо, — сказал Павлик.

— Дело чести, — ответил Анатолий.

И пока они шли к выходу из парка, и потом — Анатолий провожал Павлика до Дома, — младшему довелось услышать от старшего его страстный монолог про «Великолепную семерку», про великодушных ковбоев, спасителей мексиканской бедноты («я буду звать тебя Чико»), про красную землю Мексики и про красоту тамошних девушек («а на наших и смотреть не могу. Халды!»).

— Ну не могут же все наши быть некрасивые. Ведь есть красивые, — частично возразил Павлик.

Анатолий взгляделся в него. Павлик покраснел.

— Э-э, — протянул Анатолий, — никак ты, такой... э... юнец, умудрился влюбиться?

Павлик непорочно замотал головой. Анатолий отмахнулся от него. А навстречу им шла мама, она гуляла со своей подругой, Клеопатрой Архиповной.

— Привет, мама! Я домой. Я... мы чемпионы!

Мама что-то подсказала Клеопатре Архиповне. Та вытаращилась на Анатолия. Анатолий со вкусом поклонился. И они разминулись.

Попрощались долгим рукопожатием. Дом встречал Павлика, своего питомца, всеми окнами, эркерами и узорами. У своего подъезда Павлик увидел Сережку Галанина, знатока городского быта.

— Жду тебя целый час, — сказал Сережка, — пойдем покурим в яме. У меня «Плиска» есть, два мускатных ореха есть.

И они двинули на север, где строители рыли роскошный котлован. Там собирались возвести четырехэтажный дом с авиакассой на первом этаже.

И когда они спустились в котлован, их сразу дождалась необыкновенная находка между песком и камнями. Они еще не докурили по первой, не обменялись последними сплетнями, и Павлик не поделился с Сережкой своим триумфом. И на тебе!

Под ногами лежали, разделенные метром грунта, две маленькие, со спичечную коробку, головки из обожженной глины. Они были без затылков, без шеи, от макушки до подбородка. Одна представляла собой женское лицо анфас с отчетливо монгольскими чертами. Это была скорее даже девушка, и симпатичная. Другое принадлежало мужчине зрелых лет, с бородой, несомненному европеоиду.

Они гармонировали, это было парное изображение, созданное одним автором, привет из далекого-глубокого прошлого. Ого! Как они уцелели от лютого ковша экскаватора?

Ребята бросили куренье и закарабкались из котлована, разжевывая мускатные орехи. Договорились, что находку заберет Павлик (у него дома телефон) и позвонит историчке Галине Петровне. Может быть, их находка — открытие великого исторического значения!

Учительница была дома и, поскольку жила неподалеку, не замедлила сойтись с ними во дворе (Сережка ее дождался).

— Да, да, — сказала она, известная как знаток местных древностей, — это, скорее всего, таштыкская эпоха, две тысячи лет назад. Плод встречи размываемых скифов с молодой монголоидной стихией с Востока. Буду связываться с Думским.

Забрала находки с собой в носовом платке.

— Ждите его вéщей оценки и вещего слова.

9.

Воскресенье продолжалось, и солнце разве что намекало, что клонится к закату. Павлик остался во дворе и обливался пóтом. По озвученной версии, он дождался маму. Но важнее было увидеть Надю. Как ему хотелось — осмелился бы? — пропеть ей о своем восхождении на пьедестал и своем свежем вкладе в советскую археологию! И он захватил скамейку.

И Надя появилась. Войдя во двор с родителями (отец — в штатской рубашке-вышиванке), напрямик зашла с ними в подъезд. Но при этом, уже в дверях, она оглянулась на него — на Павлика, в открытую. Он не обрадовался: взгляд ее, нет — взор ее был пронзительно грустный, тревожный. Мгновенье — и она исчезла. И в памяти Павлика еще пожил ее сарафан, синий с голубыми цветами, незабудками. Павлик несколько раз вздохнул, вопросительно, предчувственно-тревожно, и поплелся домой, зажав в кулаке ключи, чтоб не клацали, не раздражали.

Вернулась мама и с разбега напала на сына:

— С кем это ты прогуливался, молокосос бессмысленный? С кем? Мне сказала тетя Клёпа, он ворюга, которого никак отловить не могут. Ишь, расфуфырился, кланяется. Красивой жизни хочет. Такой и Родину продаст. Запросто!

— Он мой друг, — почти прокричал Павлик, — ему нравятся герои, романтика. Мы с ним сегодня обыграли всех в настольный. Он за меня заступился, да еще как: в морду дал!

И вдруг понял, что затылок не болит. «Дело молодое».

— Тьфу, — сказала мама, — увижу с ним — выпорю. Месяц сидеть не сможешь.

И как всегда в подобных случаях, протопала на кухню. Скрипнул стул, чиркнула спичка, пахнуло табачным дымком.

Он, усталый, потерявший задор, завалился на диван и заснул без сна.

А вечером его сразили две новости. Когда он, умытый, обувався в прихожей, в дверь постучался Саша Саражаков, живший наискосок, и выпалил:

— «Мир» горит, догорает! Весь! И крыша, и стены!

— ???

— Парк закрыли в семь. Вспыхнуло в восемь, со всех сторон. Пожарные примчались (депо в двух шагах), милиция приехала — поздно. Дерево сухое, краска масляная, жара, и ветер поднялся, как дожидался. Я прибежал, а там одни головешки, пепел стоит косым столбом, милиция допрашивает сторожей. И они оба пьяные в хлам, на ногах не стоят, валятся. Как они за час сумели напиться? Их положили на скамейки, лыка не вяжут. Александр через слово лепечет по-нашему: «Абантура чаптахша» («Говорит Абантура»), а Афанасий свое: «Матка боска». «Ничего не помним». Дескать, угостил кто-то или подсунул, а кто — шут его знает. Уволят их.

А врач милицейский говорит: пустые две бутылки водки, анализ покажет, не подмешали ли туда какой отравы. Очень на то похоже, один в один, а пожарные говорят, поджог сто процентов. Солярку разливали по всем четырем углам и на входе...

— Посмотрели мы кино, — сказал Павлик. — Кто ж это сделал? А Анатолий был?

— Был. Злой, мрачный. Впервые услышал, как он сматерился. Сказал мне: «Догадываюсь, кто спалил. Но поди докажи. Попробую сам, если милиция улики не сыщет... Но у них не пытаются, а я буду пытаться...» Вот так.

Попили с ним чай, сыграли в шашки, разошлись. Павлик взял с книжной полки том Пушкина, прочитал первую главу «Онегина». Кто же... Виктор! Отомстил Анатолию.

К маме пришла соседка. Они посудачили о том о сем, и Павлику стало холодно, когда он услышал от соседки:

— А Погожие-то съезжают. Его переводят во Владивосток. Вещи начали паковать. У них немного: обжиться времени не хватило. Судьба военных какая нелегкая! Девочки уже в третью школу пойдут, тоже не подарок...

Павлик лег и снова раскрыл «Онегина». Прочитал вторую главу, третью главу. Синий сарафан плыл по страницам. Заснул очень поздно, разволновал пестренький денек (сколько их еще будет, дружок!).

Но выспаться не удалось, не дали выспаться.

10.

В понедельник, в семь утра, в их дверь замолотили с таким грохотом, будто хотели ее выломать. На пороге стоял Ричард Николаевич Думский, собственной персоной. Его встречала негодующая мама, впрочем сменившая гнев на милость:

— Какой сюрприз!

Она, как и многие, уважала его и побаивалась. «Сталин встал из гроба».

— Где ваш мальчик? — рявкнул Думский, не здороваясь. — Он мне срочно нужен.

— Спит мальчик. В его возрасте мальчики спят дома и обнимают подушку.

— Ради бога, разбудите. Он должен мне немедленно показать место находки.

— Бога ради, пожалуйста. Наука требует жертв, понимаю, — с доброй иронией сказала мама. — Может быть, чаю или кофе попьете, пока он оденется и умоется, зубы почистит?

— Не до того, милая мама. Потом умоется. Попи́сает — и вперед.

Галина Петровна дозвонилась ему поздно вечером, когда он вернулся затемно с раскопок — в воскресенье! — из Богградского района. Он прибежал к ней за три километра — жил он, как и Анатолий, около речной пристани — в начале первого ночи и не спал всю ночь. Глаза красные, сапоги грязные, немолоденький, с желто-зеленой гривой.

...Они спустились в котлован.

— Где?

— Вот здесь.

Он не спрашивал, что Павлик и Сережка делали в котловане. Зато прошерстил вместе с мальчиком всю богоданную территорию. И ушло на эту скрупулезную процедуру часа три. Котлован был просторный, и работали тоненькими прутиками. Ничего не нашли.

Потом Ричард Николаевич повел Павлика в музей на задворках школы и потребовал написать свидетельские показания. Мальчика потряхивало от недосыпа, но он охотно, со тщанием исполнил повеление археолога, умолчал только о курении.

— Молодец, видно, что сын интеллигентных родителей, — крикнул Думский. — Бесценное открытие! Какие-нибудь американцы отвалили бы за него сумасшедшие деньги! А мы им — кукиш!

— А покажите мне их, Ричард Николаевич, — попросил Павлик, — когда их еще и увижу.

Думский сел за стол, оглянулся на Сталина, выдвинул ящик, что слева, и достал китайскую жестяную коробку. В ней, закутанные по отдельности в розовые пеленки, и пребывали находки.

— Молодец, — повторил Думский, — но полюбовался, и будет.

Убрал коробку в ящик, закрыл его на ключ, подарил Павлику три китайских же теннисных шарика — как знал — и отпустил домой...

Павлик решил не досыпать. Стояло уже позднее теплое утро. Он хотел увидеть Анатолия. Нужно было ехать на автобусе до пивзавода, неблизко. Автобусы ходили редко. Ну и что? Полчаса ожидания. Мелочь имелась.

Дольше пришлось дожидаться на самом заводе, Анатолий развозил пивные бочки и, как всегда щеголеватый, явился к обеду. Удивился. Повел с собой в столовую и купил Павлику то, что было редкостью в городском общепите: борщ, гуляш с макаронами, чем растрогал растущий организм напарника. Присели. Опрятненько, цветы, прозрачные шторы. Пивзавод процветал.

Сначала они поговорили о пожаре в парке «Орленок». Анатолий кипел.

— Мне Саша сказал, что ты знаешь, кто поджег. Кто? — задал Павлик свой главный, жгучий вопрос. — Виктор? Господин?

— Господин? — усмехнулся Анатолий. — М-да, ничего я тебе не скажу, друг ситный, и не надейся. Извини, брат, ты мал. Тут ответственность за тебя. А то нет-нет да и проболтаешься. Опять же и я не до конца уверен. После, после. Не от меня узнаешь.

Павлик приуныл. Но встрепенулся и рассказал Анатолию про находку, про Думского, про то, что американцы какие-нибудь дорого бы дали за эти глиняные мордочки.

— Романтика настоящая, — загорелся Анатолий, — две тысячи лет назад! Жили люди, воевали, мирились... Говоришь, может, они муж и жена. Наверное, из любви они эти мордочки — свои! свои! — вылепили. Небось, жили бедно, да не вредно, с огоньком. Не то что сейчас. Гуси — нелюди, хамье, мелочные, вздорные. Рыла к небу не поднимут. А подавай им коммунизм на подносе.

— А будет коммунизм, веришь? — взволновался Павлик.

— Не знаю. Сомневаюсь, что с этими... Не знаю. Вопрос электрический, политический. Кто-то давно сказал, Горький что ли, Сладкий: «В жизни всегда есть место подвигу». А в нашей жизни найдешь ли место, о котором на плакате в «Орленке» написано? Я тебе так скажу: хочу орден получить настоящий, по-настоящему. Искалечиться готов, погибнуть! Но не пойду на какую-то работу, где наградят через пятьдесят лет. Я хочу сейчас, молодой да горячий... Чтобы меня за подвиг *сейчас* уважали, чтоб любили настоящие женщины...

Павлик слушал его как замороженный. Он знал, что Ковбой не женат, помнил про слухи о нем, но знал, что по утрам в любую погоду он переплывал Абан трижды, туда и обратно...

Возвращаясь домой, он встретил на улице мужа Галины Петровны Евгения Семеновича. Тот шел после обеда на работу в «Орленок». Поздравил Павлика с «двумя достижениями» («Бог Троицу любит»), засунул ему в карман папиросу.

— Евгений Семенович, как вы считаете, коммунизм наступит? Или так ободряют, трындят? — спросил Павлик.

Вопрос, видно, не понравился Евгению Семеновичу.

— Только этого мне не хватало, — медленно выговорил он. — Поживем — увидим. А я в своей жизни всего насмотрелся. И верю, умный ты малец, исключительно фактам. Главное — готовы ли люди? Не знаю, а знаю вот что, заруби себе на носу: впредь никому не задавай вопрос про коммунизм. Отшлепают, и ваших нет.

— А Галина Петровна, кажется, верит.

— А Галина Петровна, моя жена, не побоялась за меня замуж выйти. А у Галины Петровны такая работа: верить. Я тоже в свое время верил, но один хрен, всё едино посадили за вопросы. Да на двенадцать годочков... Пока, в воскресенье увидимся.

11.

В среду на маленькой проплешине за огородом соседнего двухэтажного дома собралась дюжина ребят разных возрастов, от седьмого до десятого класса, чтобы поиграть в футбол. По бокам — огородное прясло и задняя стена длинного, загадочного сарая; в роли ворот с одной стороны — холодный выбеленный сортир, с другой — вделанная в изгородь столешница.

Разделились соответственно возрастам и умениям и наметили играть до десяти голов. Растягивались такие матчи до двух, а то и до трех часов, как ни коротка площадка: футбол любили, в футболе разбились, и голы забивались заслуженные и трудовые. Случались эксцессы. На юге, как упоминалось, могли разбить окно в «Кулинарии», нередко со штрафной потерей мяча в пользу детей продавщиц. На севере пробравшиеся в сортир обитатели двухэтажки испытывали раздражение, гнев, когда мяч с силой вонзался в дверь, которая охраняла их приседания над бездной. Как-то раз после удара пронзительной мощи в двери подскочил крючок, дверь распахнулась, и миру предстал беззащитный сиделец, матерщинник дядя Петя — и наслушались от него. Однажды попали мячом в голову милой пожилой Марии Галактионовны, и она, не поспевшая юркнуть внутрь заведения, упала в обморок. Перепугались страшно. Но обошлось, и Мария Галактионовна их простила.

Сегодня, поскольку как-то не удавалось собраться с полмесяца, бились со свежим азартом и взаимной симпатией — соскучились и по футболу, и друг по другу. Павлик играл неплохо, владел дриблингом.

И носились-носились указанную пару часов, команда Павлика проиграла — и по доброй традиции, делясь мелочью, направились в «Кулинарию». На чистом воздухе аппетит набегали волчий. Перелезли через забор, вышли гуськом к ступенькам и... увидели новую вывеску: «Трикотаж».

На крылечке стояла хорошо знакомая продавщица, цыганка Земфира, лет сорока. Печальная, как поздняя осень. Мальчишки окружили ее: «Что такое, что случилось, что за издевательство, мы же всё раскупали. Пирожки, маковые рулеты, слойки!» И печальная Земфира сказала им:

— Конец «Кулинарии», золотые-любезные. Сообщили: «Сырья нет, нечем вас снабжать», а вещают, голосят: «Коммунизм! Коммунизм!»

Буду трусáми женскими, до коленок, торговать. Спасибо, что на работу взяли. Коммунизм!

И с видимым отвращением зашла в магазин. Павлик получил новый урок по поводу шаткости высоких слов. А «Кулинарии» уцелели в немногих избранных городах СССР.

12.

А в субботу он попрощался с Надей. После, ночью, плакал в подушку, сидел совой на балконе, а тогда, днем, сидел сычом на скамейке, ждал Надю. Въезжает во двор маленький чихающий автобусик, выходят два солдатика, мелких, как корнишоны, ныряют в подъезд. Выныривают с вещами, тюками, матрасами. С ними носит небогатое добро и сам Погожий. С сумками выходит его жена, со всякой мелочью — Надя и Оля. Они — в брючках, кофточках, смотрят перед собой. Оля веселая, предвкушает путешествие на Дальний Восток. Надя не предвкушает.

Павлик окаменел. Он знал, что отъезд неминуем и прощания не отменить, но одно — знать, и совсем другое — видеть.

Погрузились быстро. Он не выдержал, пошел к подъезду, ближе к Наде. А Надя уже зашла в автобусик.

У двери Павлик оглянулся. У него прыгали губы. Надя выходила из автобуса и шла к нему. Он зашел внутрь и прислонился к батарее. Скрипнула дверь. Надя зашла в полумрак и встала на первой ступеньке. Выпрямилась. И сказала ему:

— Я вас любила. И любовь, быть может,
В моей душе погасла не совсем,
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была.
И я любила вас; и что же?..

Павлик робко переступил к ней. Ему хотелось взять ее за руку, подержать, поцеловать руку. А в губы? Хотел бы, но не знал как, он никогда в жизни не целовал любимые губы...

Он хотел что-то самое нежное высказать, но Надя подняла ладони — и остановила его и словно запечатала рот. Повернулась и вышла на улицу, бережно притворив дверь. Он услышал, как хрюкнул автобусик, как не торопясь поехал к воротам. Он долго стоял в полутьме у входа. Наконец, поцеловал дверь и, считая ступеньки, поднялся к себе. *Всё.*

13.

А завтра, в воскресенье, небо расщедрилось на настоящий ливень. Что не помешало ребятам всем скопом собраться в зеленом павильоне. Ливень, искрящийся, хрустальный, не помешал приехать и мокрым

насквозь гостям-теннисистам из Черногорска и Мирусинска. У них, у этих пар, репутация была высокая, и они ее оправдали.

Однако черногорцы бездумно подвыпили, потеряли реакцию и обрекли сами себя на поражение — 2:0, 2:0. Павлик был огорчен, но и ожесточен гореванием, а значит, собран.

Мирусинцы были трезвы, уверены в себе, опытни. Развернулся спектакль в девяти сценах. И все-таки родные стены, преданные патриоты-болельщики сыграли свою роль. 2:1, 1:2, 2:1.

Болельщики дымились и в прямом, и переносном смысле.

Побежденные добродушно жали руку Анатолию и обнимали и трепали за уши Павлика. Анатолий был невесел, напряжен (что тоже положительно сказалось на его игре) и, оглядывая скоп, забыл, что он звезда Абантуры, и явно искал в толпе кого-то. Виктора?

Виктор сегодня не появился. Он «отовсюду исчез», удивлялись и переживали его подданные.

Потом ливень прекратился, и взрослые отправились выпивать в кустах акаций за павильоном. Ребята расходились, оживленные и словоохотливые. Павлик прислонился к перилам, спиной к ним, и каждый земляк, радуясь за него и сочувствуя его неведомой грусти, трогал его плечо или гладил по спине.

Оставшись один, Павлик выкурил сигарету и встал на пороге павильона, собираясь в недалний путь домой, словно на переправе, от берега до берега.

Запахло зеленым миром. До него доносились добродушные от полноты впечатлений возгласы из кустов, они сообщали о том, что люди могут быть братьями на самых скромных основаниях. Сквозь густые, щедро, привольно разросшиеся кроны старых лип проступала наливающаяся лазурь неба. Воздух был чист, он светился. Он веял короткими ласково-ненавязчивыми репликами: подыши мной, не горюй, я с тобой, всё впереди.

Обнаружилось, что липы перед ним все разные, как люди-человеки, но отборно хорошие человеки, которым дано хорошее настроение.

Он слышал, как за липами про промытому асфальту постукивает обувь прохожих: никто не торопился, никто не хотел нарушать подаренного ливнем порядка вещей. В нем и люди, и липы, и мокрые птицы на ветвях и крышах, и убогий павильон уравнились в правах.

Хотелось быть. Хотелось приобщиться. Это было открытие.

14.

В следующее, последнее для Павлика воскресенье в парке, он перенес новую, тяжелую, решающую утрату.

Он напрасно ждал Анатолия. Вместо него, как на замену, в павильон возвратился Виктор с размытым желтым пятном на лице, слева. То был плохой знак, дурное знамение. Удрученный Павлик сидел себе молча среди шатии-братии. Теперь ему подчеркнуто уступали почетное место на скамейке, рядом с урной.

Виктор зашел по-хозяйски, несвойственной ему развалочкой и с демоническим оскалом. Он походил по павильону вдоль и поперек, из угла в угол, как собака, метящая свои уголья.

Навис над Павликом:

— Ждешь? — и замахнулся, припугивая.

Павлик кивнул. Он *догадался о беде*. А Виктор схватил за ворот и выдернул его — не защищенного уже — со скамейки.

— Не дождешься? Понял? Вон отсюда, Клопик вонючий! И никогда сюда не приходи! Ха-ха, посадили твоего Анатолия!

И толкнул к выходу, занося ногу для пенделя. Скамейка вяло взвизгнула. Виктор не стал пинать Павлика. Его спасло ленивое великодушие триумфатора. И Павлик ушел, раздавленный потерей и недоумением.

Некие ворота перегораживали ему путь, они захлопнулись, массивные, кованые.

15.

Через неделю, небывало длинную неделю, к нему забежал возбужденный Сережка Галанин и рассказал следующее.

У него есть дальний родственник, милиционер Миша. Вчера он приходил к Галаниным в гости, на юбилей отца. Отцу стукнул «полтинник». Миша, подвыпив как следует сержанту правоохранительных органов, поделился с отцом «закрытой информацией».

Это случилось на балконе, понятно. За курением и дополнительными возлияниями над клумбами львиного зева и левкоев, куда улетели две пустые бутылки от портвейна. Пока их осушали, Миша и делился, как чукча, у которого от чума и до чума расстояние в две трубки. («Ох и болтлив, как всегда, Сережка».)

Речь шла об Анатолии. За ним давно следили. Он проходил по пяти эпизодам, а улики не имелось. Но недавно ограбили магазин на Чертыгашева — дождались, когда сторож бегал к своей подружке, — и кто-то из злодеев обронил свой ключ. Пальчиков не было, ворюга работал в перчатках.

Прежде прочих подозревали Анатолия. И сделали так. Он отправился на работу, матушка засеменила в магазин. Подошли к двери. Ключ был редкий, фигурный, на заказ произведенный. («Анатолий!») Проверили — открывается замок или нет. Открывается! Открыли, закрыли, смылись. Он!

Месяц его пасли неотступно, где, что и как.

— Он, Миша, и про теннис рассказывал, и про вашу пару непобедимых, дескать, Анатолий с каким-то мелким всех крушили. Там, в парке, по субботам, по воскресеньям, сидел свой человек, пацан деревенский. Ну, в итоге. Заметили, что Анатолий крутится около музея. Ага. Устроили засаду и взяли его в кабинете директора.

Паша, а ведь он прихватить хотел нашу находку. Миша сказал, головки какие-то доисторические. Всё-о-о. А ты: «Анатолий, Анатолий». И знал же он, где они припрятаны, и вообще — о них. От тебя?

— Нет, — ответил Павлик, подобный проколотой шине. Не потому, что разоблачат, что говорун Сережа разнесет. Ему было теперь все равно, и сам разговор был ему горше зубной боли. Хватит!

А Анатолий промолчит, он ковбой. И как ни провинился, ни предал его, Павлика, останется ковбоем. Прощай, Анатолий. Спасибо за праздники.

16.

К концу лета были прочитаны «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Повести Белкина» и «Медный всадник». К вящему изумлению мамы, Павлик научился стирать носки, чистить башмаки, жарить глазунью и гладить рубашки.

Он сожалел о том, что у него нет фотографии Нади, и понимал, что, может быть, так и нужно: Надю он больше не увидит. Важно, что она была.

С середины августа, когда ночные посыпались звезды, Павлик сошелся на горке с учителем астрономии тетей Люсей, дочерью гостиничной тети Вали. Тетя Люся спасалась от разочарования, брошенная женихом-дураком. У нее имелся телескоп с тридцатикратным увеличением, и они рассматривали планеты. Белок Венеры, медный гонг Марса, далекий-далекий Юпитер со свитой из четырех спутников. И с особым вниманием разглядывали Луну. Близкую-близкую, согретую Солнцем, с ее норами-кратерами. Тетя Люся, высоченная волейболистка, наклонялась к нему и увлекательно повествовала: «Наступит время, и мы с тобой, Павлушка, побываем на Луне». А он бестактно отвечал ей: «И ты, тетя Люся, выйдешь замуж за лунатика».

А потом, прозябнув под сырым ветром, шли спать, и спали великолепно, с космическими снами.

17.

В начале нового учебного года состоялась, как положено, первая репетиция школьного хора. Павлика в пятом классе назначили солистом. Вместе с Родькой Данненбергом, сыном сосланных баптистов, они исполняли радостную песню «Пусть всегда будет солнце!».

С нее и началась спевка. Гаврила Иванович, их повелитель с шикарным баяном, из сосланных западнцев, внимательно, морща широкий нос, прислушивался к Павлику. Павлик почувствовал неладное, он сам был недоволен своим пением и не мог уразуметь, почему ему не поется, не даются верхние ноты и откуда берется хрип.

И Гаврила Иванович, добрейший человек, стесняясь, заключил:

— Павло́, у тебя ломка голоса. Налицо, на́ ухо. Родя еще держится, а ты вставай со всеми. Не беда, это естественный процесс. Еще запоешь. Естественный так естественный.

18.

Приписка. Много лет спустя. Я, бывший Павлик, работал в библиотеке. Мой сосед по кабинету, Андрей Яковенко, кропотливо и с увлечением собирал справочник «Золотые Звезды героев» на потомском материале. Краеведческий.

И в один прекрасный день мне пришло в голову вспомнить о Герое и узнать, когда, где и какие подвиги он совершил. Интернет, с помощью Андрея, выдал мне лаконичную, емкую информацию. Мой взгляд наткнулся на даты рождения и кончины Ивана Ивановича. Оказалось, что он ушел из жизни не в Абантуре, а в Прокопьевске и прожил еще целых восемь лет после того, как якобы замерз на столе в зеленом павильоне.

Ай да полковник Петр Иванович Забабурин, ай да... Как он уговорил коллег-прокопчан приютить Ивана Ивановича, чем расплатился за это? Не тайменями же? Или тайменей было невиданно много?

А уволенные сторожа, Александр и Афанасий, с их враньем? И сумел же кумир моего детства Петр Иванович заставить их, непутевых балалаек, во-первых, озвучить легенду (что несложно), а во-вторых, помалкивать в тряпочку, не выдать тайну (что невероятно). Жизнь состоит из сюрпризов и удивлений. И бесконечных потерь.

